



# ОЛЕГ ПАВЛОВ

Лауреат премии Александра Солженицына

дело  
матюшина

р о м а н

Повести последних дней

Олег Павлов

**Дело Матюшина**

«WebKniga»

1996

**Павлов О. О.**

Дело Матюшина / О. О. Павлов — «WebKniga»,  
1996 — (Повести последних дней)

ISBN 978-5-9691-1023-6

Это история убийства, рассказанная с предельной психологической достоверностью. Но читатель рискует оказаться в плену ложных ожиданий, посчитав ее детективной. Проза Олега Павлова – это не парк аттракционов, а испытательный полигон. Литературная роль Олега Павлова – это роль проводника. Но не на запредельные, а на сопредельные территории – туда, где в любой момент может оказаться любой человек.

ISBN 978-5-9691-1023-6

© Павлов О. О., 1996

© WebKniga, 1996

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 6  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 13 |

# Олег Павлов

## Дело Матюшина

© Олег Павлов, 2013

© «Время», 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

*Разве я сторож брату моему?*  
*Книга Бытия*

## Часть первая

Всю эту жизнь он будто бы знал наперед: в ней случится то, что уже случилось, – и пронзительней вспоминалось прошлое, а памятней всего было детство. Хотя скитание по гарнизонам за отцом, однообразная неустроенность и его, отца, вечным комом в горле немота и безлюбовность могли бы только опустошить.

Дети, а их в семье было двое братьев, не ведали ни дедок, ни бабок, живя даже без такой, стариковской ласки. Мальчики родились в далеких друг от друга городах, не в одно время, а точно разломанные разными десятилетиями, и росли чужими.

Гневающий этот дух гнезился в отце. Григорий Ильич Матюшин уже родился на свет сиротой. Та, что родила, выбрала почему-то, чтобы освободиться от своего бремени, кладбище. И хотела, наверное, своему детенышу смерти, завернув в тряпку и бросив трупиком среди могил, разве что побоявшись убить собственными руками. Но тряпичный сверток обнаружили люди, что пришли на могилку к своим родным. В сиротском доме подкидышей записывали под фамилиями тех, кто их находил. А чья-то годовщина смерти, которую отмечали приходом на кладбище, стала датой его рождения. Это все, что мог он узнать, взрослея, о себе. Он думал о тех, кто дал ему жизнь, как о мертвых. Однако с годами они перестали быть для него даже мертвыми. Ребенком он пережил войну, ее голод и холод. Путевку получив в жизнь, сын народа, мечтая выучиться на горного инженера, работал там же, где вырос, в уральском городе Копейске, на угледобыче, пока не призвали в армию.

Служить выпало в Борисоглебске, где молчаливый строгий солдатик пригнулся в доме своего ротного командира, человека такого же молчаливого, любившего строгий порядок. Был он крестьянской закваски, простак, и в солдатике видел для себя сына, тем более зная, что пригнул сироту. У командира-то детей было хоть густо, да пусто, нарожал одних девок. Жене его, что вечно ходила с животом, было не до порядка в доме; старшая, Сашенька, управляла хозяйством и командовала сестрами. Молчком сошлись они с Григорием Ильичом – тот помогал по хозяйству, навроде работника, а выходило, что Сашеньке всегда помогал, был при ней работником, она же его и кормила. Было ей шестнадцать лет, школу еще не окончила. Григорию Ильичу год службы оставался. Командир дочку берег и с усмешкой, но говаривал солдатiku:

– Ты, Егорка, гляди, глаза-то не пяль, гол ты, как сокол, Сашке такого жениха не надо, да и сгодится в хозяйстве, пускай матери поможет, сестер на ноги поднимет, а потом невестится.

Однако вышло, как этого доченька его старшая захотела. Пили они как-то вечером чай за семейным столом, все в сборе да в командирском доме, а Сашенька вдруг говорит:

– Я за Егора пойду, у меня от него ребенок просится. Делайте что хотите, а я буду рожать.

Командир чуть со свету не сжил Григория Ильича, долго тот ходил битый. Однако поделаться было нечего. Сашеньке подходило время рожать, а Григорий Ильич еще месяц – отслужив срочную, мог бы исчезнуть из Борисоглебска, и командир смирился. Родился мальчик, нареченный в его честь, Яковом. Зятька у себя пристроил служить, как смог, на хлебную складскую должность. Сашка осталась опять же под рукой, в доме.

Но вдруг говорит отцу:

– Егору на офицера надо учиться, мы уедем.

Григорий Ильич выучился, и с того времени, как получил самостоятельное назначение, даже проездом Матюшины в Борисоглебске не гостили, в гости же к себе родню не звали.

Поехать пришлось на похороны. Но Григорий Ильич, еще уважив своего умершего командира, не захотел отпустить жену, когда случилось, хоронить мать... Считая, что всего в жизни добился сам, Григорий Ильич не столько гордился своим благополучием, сколько боялся близко подпустить вечно стонущих и обездоленных ее родственников, даже проездом. Они своей пусть жизнью живут, а мы своей. Я помощи у них не попрошу, так пускай у меня

не просят. Они же только и жили за счет отца с матерью, так пускай хоть мать свою похоронят, будут людьми. На отца давал им денег, сто рублей, памятник поставить – а только обещают, подлецы, потому что проели и пропили его денежки... Так нудил и нудил, не отпуская жену на похороны, но скопился в Сашеньке неожиданно для него гнев, если не ярость. Стала она кричать, что больше не будет его обстирывать и кормить: служить как собака! Материнский вой в темном гулком доме, раздавшийся, когда отец замахнулся, чтобы ударить мать, но так и не посмел – был его, Матюшина, первой в жизни памятью. Отец устранился тогда детей, которыми загородилась как щитом их мать, – старший, подросток, и он, комок в ее каменных неприступных ногах, больно сжатый ею за плечи, точно не руками, а тисками.

Этот вой материнский мучил его потом, никак не находя места в сознании. Прошрое в их семье находилось под молчаливым запретом, как будто не существовало никакой другой жизни, кроме той, какой все они жили в настоящем времени.

Григорий Ильич, выпивая одиноко после ужина, засиживался до глубокой ночи, запрещая жене убирать со стола грязную посуду. Мать бросала все и уходила спать, заставляя и братьев укладываться. Темнело, но росла темнота опустошающе долго. Стены рушила тишина, и делалось страшно.

Никто не спал. За стеной, где остался за пустым столом отец, было тихо. Но ждали, не спали, зная: должен наступить конец, до которого, мучая себя водкой, он яростно доходит – и все кончится рыданием или кромешной его дракой с матерью. Никогда не было слышно, как он входил. Прокрадывался, будто не хотел никого будить. Но вдруг это начиналось. Слепящий безжалостный свет. Разгромленная комната. Надрывался, кричал отец. Лаяла криком мать. Потом что-то вырывалось наружу, шибая дверью. И обрушивалась опять тишина, а свет, затмеваясь, гаснул.

Мальчик обретал память уже в объятиях матери, что дышала как загнанная и плаксиво еще подвывала. Но старший брат лежал глухо, мог вынести и погром, и материнский скулеж, и как надывается в двух шагах от него испуганный братик. Отец не мог вынести – а этот мог, бездушная отцова тень. И бывало, когда, напившись, Григорий Ильич посреди ночи лишь беспомощно одиноко рыдал на кухне, жена его убаюкивала, как маленького, и уводила спать.

Брат и отец были для него существами одинаковыми. Даже запах у них был один: курева с одеколоном. Яшка воровал отцовские папиросы и отцовский одеколон, за что отец нещадно бил старшего сына, до крови, наказывая за воровство и когда жаловалась мать. Яшка же устраивал пытки младшему братику: за руку схватит и жмет, плющит ее со всей силой, радуясь и зная, что нажалуется тот матери, а она – отцу. И отец опять среди ночи подымал его, когда возвращался со службы, потому что другого и не было времени. Уводил на кухню, чтобы не будить остальных, и бил что было сил, но Яшка вытерпеливал его побои. Так он, чудилось, и повзрослел.

Матюшин помнил, как мать с облегчением говорила, что Яшку скоро заберут в армию... Яков писал из армии потом редко, служил на границе, где-то в теплых краях; мать пересказывала его письма – и о нем тут же забывали. Но Матюшин помнил, как мечтал, что Яшку в армии убьют на какой-нибудь войне и он никогда не вернется. Временами чудилось, что старшего брата действительно не стало в живых – и стены в их доме поэтому обросли покоем, и явился вдруг строгий чистенький порядок.... Александра Яковлевна хвалилась подружкам: велю Васеньке сидеть на табуретке, чтобы не мешал, так он сидит-сидит, воробушек, а я все дела переделаю и сама про него забуду. И ему было хорошо только с ней, как хорошо бывает не думать ни о чем и всему благодарно, по-щенячьи, подчиняться.

Отец добывал выслугой звание за званием, должность за должностью... Крутой, волевой человек с хваткой, все исполняя, он умел добиться своего и не упасть. Григорий Ильич боролся не для того, чтоб удержаться на шестке своем, он хотел и мог в жизни с какого-то времени только побеждать. Борьба такая требовала не просто силы воли, но всей этой воли напряже-

ния, которого он достигал, становясь сжатым в человека нервом. Когда спал отец, то нельзя было шуметь, и за едой никто не смел говорить, кроме него, никто не имел права оставить в своей тарелке хотя бы ложку недоеденной, хоть кусочек. «Это кто хлебом брезгует? Кто тут зажрался?!» И недоеденное сжевывали у него на глазах, – только тогда Григорий Ильич обретал покой.

Доедал Матюшин с детства, давясь, но доедал. Это был страх, но такой же трепещущий, зараженный любовью, что и ревность старшего брата к отцу, – и любовь, а не страх, делала их подвластными отцу. Любовь эту нельзя было истребить в их душах. Как не постигал отец, что отторгает детей и мстит этой чужой жизни нелюбовью к своим детям, так и дети не постигали, что чем сильнее будет эта нелюбовь отца, эта его священная кровная месть жизни, приносящая их в жертву, тем жертвенней и неодолимей будет порыв любви к нему, точно бы порывом к жизни; что нелюбовь к ним отца, но и любовь их к отцу неистребимы, как сама жизнь, и не могут друг без друга.

Когда вернулся со службы Яков – казалось, родился новый человек: мужественный, твердый, светлый. Возвращение его в семью стало неожиданно для всех радостным.

Положение Григория Ильича было крепче некуда: свежеиспеченный полковник, командир стратегического дивизиона, он даже выглядел крепко, осанисто. Тогда, в те дни светлые, и решилась судьба Якова. Рабочие и даже творческие профессии Григорий Ильич не уважал, считая одних дармоедами, а других болтунами. Яков, как и отец, презирал слабаков, даже когда учился в школе, любил только физкультуру, помыкая умненькими да усердными одноклассниками, что в страхе исполняли все его команды.

Армейские годы сделали Якова сильнее физически, к тому же держали в строгости, отчего он стал покорней, но поэтому и было заметно, что живет без интересов, желаний, будто скованный. Сыном теперь полковник не прочь был погордиться, но не столько думал о Якове, сколько тешился мыслью, что продолжится офицерский род, которому он дал начало. Сразу родилась у него мысль о Москве – Яков отслужил в пограничниках, а в столице было лучшее на всю страну погранучилище. В один час полковник высказал сыну, какой видит его дальнейшую жизнь. Яков, казалось, был готов к такому решению и дал согласие без раздумий, хотя это значило, что покинет дом, успев едва свыкнуться с его стенами.

Уехали вместе, а возвратился отец один, без Якова, отдохнувший и как будто налегке. Яков остался в Москве. Сдавал экзамены – дали место в общежитии училища, а когда был зачислен в состав, то мог отбыть домой и отдыхать до осени, однако не захотел: отправился сразу в курсантские казармы.

Георгий Ильич на всякий случай ходил к начальнику училища, чтобы там узнали, кто он такой. Остальное время осматривал столицу. Ни в чем себе не отказывал. Ужинал в ресторанах. Жил в гостинице «Россия». Потратил все большие деньги, что брал с собой в Москву. Он приехал не в мундире, как уезжал, а во всем вызывающе новом, даже с красивым желтым кожаным чемоданом – тот, с которым ехали, старый, оставил Якову.

Мать с порога, только увидев, вцепилась собакой в отца. Вместо радости – лай, вой. Ребенок, о котором забыли, поначалу забился в угол, а потом вышмыгнул из квартиры. Когда на улице смеркло, и стало страшно, пришел в опустошенный дом. Кругом все было побито, изрезано, испорчено. Среди ночи объявился отец: не помнящий себя, запойный. Он обошел дом, довольный, думая, что прогнал жену. Ткнулся в сына, но не разбудил; утихомирился и улелся в свою комнату спать. Утром домой вернулась мать – не одна, а с подмогой, с незнакомой чужой женщиной, что всплакивала, жалея не свое добришко. Она помогала в уборке квартиры, заваленной сдвинутой с мест мебелью, усеянной осколками. Женщин, пробудившись, отец не тронул. Он сидел в сторонке, угнетаемый похмельем, и молча курил. Мать всплакнула лишь над узбекским ковром, что был недавно куплен: красочный, как будто все еще цветущий, он был

безобразно вспорот посередине. Глядя на нее, беспомощно зарыдал отец. Он хотел, чтобы его пожалели, но Александра Яковлевна с какой-то обреченной ленцой взялась опять за уборку.

В доме снова поселилась тишина. И, казалось, с тех пор мать с отцом срослись душами в одну, твердокаменную. Купила мать другой ковер, другие фужеры, скопила, что заработал отец. Матюшин чувствовал это и боялся быть одиноким, ненужным для них. Тогда-то родилась в нем тоска по старшему брату. Григорий Ильич привез из Москвы цветную фотографию, где они с Яшей, парадные, стоят на фоне кремлевской стены – снимок был сделан у могилы неизвестного солдата. Фотокарточку поставили на лучшее место, с фужерами и офицерским сверкающим кортиком отца, в сервант – не для себя, а для гостей, чтобы люди видели; маленький Вася ходил к серванту, выкрадывал на время фотографию и тайком с ней прятался в своей комнате, мечтая, что вырастет поскорей и уедет в новую светлую даль, как Яшка.

Яков наезжал летом, в отпуска, но Васеньку родители на это время отправляли в лагерь, а там уже не навещали – такой был у них в семье порядок. В эти годы отец бросил пить и курить, стал заботиться о своем здоровье, хоть далеко ему было до старости. Но именно поэтому он всерьез страшился умереть. В Ельске, где отец укоренился и командовал этим почти военным городком, власть его давно была непререкаемой. Десять лет жизни на одном месте и такое уважение остудили Григория Ильича. Покой провинциального местечка, где он был хозяином, внушил спрятаться от жизни, и только как укрытием окружить себя таким вот, подвластным, городишком.

Страстью отца была охота, потом – рыбалка, когда хотел он уже только покоя и даже отдыхать полюбил в одиночестве. Но два ружья, немецкие трофейные, оставались в доме, при нем, хоть и отвык охотиться. Ружья, сколько помнил себя Матюшин, хранились в их квартире, в комнате отца, в которую никто не смел заходить без его разрешения – и тем более в его отсутствие. Там стояло это бюро, похожее сейф, сработанное в давние времена позабытым солдатом-умельцем. Отец каждое лето доставал ружья, прогревал зачем-то на солнце, потом их чистили, смазывали. Так как в грязи мараться он не любил, то чистить стволы шомполами, смазывать все же доверял. Матюшин исполнял эту работу с усердием, так как знал, что отец позовет принести вычищенные ружья, станет их обратно чехлить и отопрет ключиком своим единственным ореховое бюро. Из бюро, что закрывал он нарочно от сына спиной, текли грубые, злые запахи кожи, оружейного масла и чего-то еще. В бюро было множество полочек, ящичков, коробочек – и Матюшин только успевал увидеть их темные краешки, как отец захлопывал дверцу, запирали хозяйство свое на замок и, оборачиваясь, уж прогонял его прочь.

Матюшин полюбил тайны, а еще полюбил рыться в вещах, к примеру в материных пуговицах, или сам что-то прятать.

Он рос по произволу судьбы. Учение давалось легко, без труда, но потому маялся от скуки. Увлечь его чем-то могла только похвала, а если не хвалили – опять же становилось скучно.

Очень рано Григорий Ильич захотел, чтобы младший его стал врачом, но не просто медиком, а специалистом по военной медицине. Ему стал нужен личный доктор, но такой, родной, и только военный, как будто гражданский человек в его здоровье не смог бы разобраться, – а чужому он не стал бы доверять. Если в семье заболели, то лечились в лазарете, даже детей водили к военврачу, иначе Григорий Ильич отказывался верить в болезнь.

В раннем детстве у Матюшина болело ухо, и военврач, привыкший к простоте, делая промывание и продувание, наверняка, повредил ему барабанную перепонку. Что слышать он стал на одно ухо туго, тому значения тогда не придали. Однако через много лет на первой своей военной комиссии, подростком, Матюшин был неожиданно по слуху забракован. Признали тугоухость его неизлечимой, хотя в жизни давно свыкся он с ней и вовсе не страдал, был по годам здоровее и крепче сверстников.

Григорий Ильич узнал, что сына признали негодным к военной службе, и много дней молчал, не желая замечать его присутствие в своем доме. Молчание это нарушили его же слова:

– Служить он не может! А что он может тогда, инвалидка? Думал, будет в доме военврач, а завелся дармоед...

Когда в мыслях отец с ним покончил и перестал в него верить, Матюшину стало отчего-то легче. Он готов был просто трудиться, не боясь замараться и занять не первое место, как боялся всю жизнь отец. Учебу и путь в будущее ему заменила работа, но ремесло выбрал он себе первое попавшееся, замухрышное – слесаря. Отец молча позволил ему стать недоучкой, но презирал, насмехаясь, даже когда он отдавал честно заработанную получку матери:

– Гляди-ка, кормилец наш пришел! Вшей кормить!

Якову, тому родители высылали в Москву по тридцать рублей в месяц, и не слышно было попреков. Григорий Ильич уже только в старшем сыне видел свое подобие – и начинал привязываться к этой мысли душой, чувствуя неожиданную слабость перед ним. Яков последний год не заезжал в Ельск. Доложил отцу в письме, что в отпуск уедет в стройотряд на заработки. Деньги ему ежемесячно высылали из дома, была еще стипендия в училище, да и много ли надо в казарме – поэтому Григорий Ильич приуныл. Осенью пришло новое письмо: Яков сообщал родителям, что женился. Выслал фотографию со свадьбы и письмо, в котором сухо объяснял, что не хотел втягивать родителей в расходы, беспокоить, поэтому все так получилось.

Отец был доволен в душе, что Яков так рассудил. Григорий Ильич в ту пору пристрастился беречь, копить деньги на сберкнижке, так что даже Александра Яковлевна не знала толком, сколько их скопилось. Все становилось сбережениями, тратить которые он жадничал, если только не для себя – на любимые японские спиннинги, лески, а однажды куплена была финская дубленка, потому что боялся заболеть зимой в обычном пальто. Семья жила к тому времени на всем готовом: Григорий Ильич получал спецпак – как член горкома партии, и еще армейский. Александра Яковлевна обслуживала дом. В доме все уже приходилось делать ей одной или с помощью сына – использовать солдат Григорий Ильич настрого запрещал, выговаривая, если что:

– Есть у тебя этот, глухой – его и запрягай.

К молодоженам в Москву был отправлен ответно скуповатый денежный перевод. На присланной фотокарточки, сколько не разглядывали, видно было отчетливо лишь сына Яшу. Ее поставили в сервант – появилась еще одна иконка, которой гордились – а молодые приехали в Ельск, почтили отца через год.

– Знакомьтесь, это моя Людмила! – громыхнул с порога Яков и толкнул в родительский дом чем-то недовольную жену.

Людмила появилась как бы сама по себе. Это была уверенная в своей красоте, крепкая, светящая округлым желанным телом женщина, хотя ей не было и двадцати лет. Даже у Александры Яковлевны не повернулся язык назвать ее доченькой – видной была сразу любовная ее над Яковым власть. Тот не отходил от нее, томился, но держался хозяином. Людмила уважительно отстранилась в доме от Григория Ильича. Равнодушно слушалась, когда Александра Яковлевна по-женски командовала, как им лучше устроиться в комнате, что делать с постелью.

Григорий Ильич в ее присутствии обращался только к сыну, давая понять, что Яков для него главнее в их семье; а делая вид, что глядит на молодую женщину обычно, все же тяготился этих своих взглядов, чиркающих невольно по ее груди и бедрам.

Начинались летние полевые учения, и, беря себе передышку, отец с удовольствием отбыл подальше от дома.

Для молодых все было устроено – в Ельске поедом ела тоска, но каждое утро к дому подкатывал газик, высланный из гарнизона, и отвозил за город на речку. Яков с Людмилой брали Васеньку с собой из-за Александры Степановны: в первые дни та с радостью детской

направлялась отдыхать со своей, как думала, семьей. Она нарадовалась и подустала, но почему-то хотела, чтобы молодые ездили на речку, если без нее, так с младшеньким.

Матюшин тянулся к Якову, гордился, что есть у него такой брат, но и робел перед его счастьем. Тяжеловатый, Яков разваливался на берегу как дома, следил за Людмилкой, но хотел только спать, а она – купаться и загорать. Поездки их втроем одинокие, томящие, осветили жизнь Матюшина такой радостью: простор, вновь обретаемая вера в себя, в жизнь свою, в распахнувшийся огромный мир; сама того не ведая, взрослая чужая женщина сделалась вдруг для него кровно родной, непререкаемо-единственной. Вылезая из холодной своей лягушачьей шкурки, Матюшин мог только подчиняться ей. Ему казалось, что Людмила теперь всегда будет жить с ними – и такое яркое, ясное возшло вдруг это лето, земное и неземное, как из-под земли.

Нежась на бережку, усталая от купания, – а плавать она любила одна и подолгу в гладкой воде, – Людмила позволяла мять и гладить себе спину, плечи, что было ей приятно и, наверное, усыпляло – а маленького ухажера приводило в дрожь. Но, бывало, Яков с Людмилкой отлучались – Яков брал покрывальце и уводил жену далеко, в кукурузное высокое поле, ничего не говоря брату, не думая что-либо объяснять. Чувствуя растерянные взгляды меньшого братца, Яков тяготился им все больше и как-то отвращение его вырывалось наружу, он громко выговорил жене, когда Васенька делал ей на бережку массаж после купания:

– Ты что, не понимаешь дура, он же тебя лапает!

Когда приехали домой с речки, Людмила бросилась собирать вещи. Яков насмеялся над ней, все из чемодана тут уже вышвыривая, а потом, взбешенный ее своеволием, вдруг хлестнул по лицу, как если бы думал привести в чувство. Людмила стояла на месте, зарыдала. Заслышав ее плачь, в комнату вбежала Александра Яковлевна: молча кинулась к Якову и, не давая опомниться, вцепилась, как будто хотела загрызть. Яков испугался, оцепенел... Опомнившись, обрета разум и силу, ее обхватила со спины Людмила – и, не ведая ни страха, ни жалости, одна оттаскивала как могла от мужа. Сила ее, какая-то страстная, но и холодная, без борьбы, обездвигила бывшую в слезах мать. С той же холодной страстью Людмила уткнулась губами в ее затылок, твердя, что все у них с Яковым хорошо и что была сама виновата во всем. Александра Яковлевна утихла. Маленькая и сухонькая, похожая на паучка, убралась обратно на кухню, в свою паутину, где ей довольно было, что не порушился в доме покой. Людмила увела Якова гулять, и пропадали они где-то до ночи.

На следующий день прибыл с учений Григорий Ильич. В доме все молчали. Тягостно ощущая, что стало вдруг в нем тесно, он со смешком, как будто весело, спровадил молодых на дачку, догуливать медовый месяц там, подальше. Через неделю Яков с Людмилкой вернулись. К этому времени уже заготовили для них билеты на обратную дорогу, давая понять, что устали от гостей.

До их отъезда в Москву оставалось несколько дней. Больше на речку не ездили. Яков скорей равнодушно не замечал присутствия в доме младшего брата – в те дни много было у них много разговоров с отцом. Здоровые, зубастые, гогочущие, обсуждая будущее, сживали они вечерами – и отец наставлял сына, как надо держать себя, чего от службы добиваться, щедро и с охотой вспоминая случаи из своей жизни, когда и он начинал служить. Замолвить словечко за сына он не мог, погранвойска проходили по другому ведомству, и Якову предстояло биться за то, на какую границу пошлют. Григорий Ильич наставлял, что начинать надо с мест глухих и дальних, откуда легче выбиться, где народишко устает служить, но есть риск – значит, и есть где о себе заявить. Дальний Восток или Север. Если же с запада начинать, в Прибалтике или в Белоруссии, где сытней, то сожрут, подомнут – такой народишко служит, только место сытное сторожит.

В день отъезда молодых не провожали – и порядка этого ничто не могло нарушить. В их семье заведено было провожать только до порога. Зато собирали в дорогу торжественно, долго.

Весь день мать заставляла прихожую коробками с вареньем, компотами, соленьями. Кое-как, с помощью солдата, загрузили их в присланную напоследок отцом машину. Тому же солдату – отцовскому водителю – велено было уже на станции помочь им погрузиться, но Яков вдруг сказал, что поможет это сделать брат. Мать не могла взять в толк, отчего нужно всем набиваться в одну машину, трястись в теснотище с коробками, если есть солдат. Яков, не споря с ней, молча кивнул брату – и Матюшин полез в утробную темноту черной знакомой машины, чувствуя только, что куда-то падает. Они стремительно быстро достигли вокзальчика и выгрузились на пустой, безлюдной платформе. Станция в Ельске состояла из двух вкатанных в землю асфальтовых платформ. Людмила отошла в сторонку, стала ждать в одиночестве поезда. Яков обыскал глазами вокзальчик и, ничего не говоря, пошагал куда-то внутрь. Пойдя вслед за братом, Матюшин оказался в тускло-светлой, гулкой по-вокзальному рюмочной. Яков спросил у стойки сигарет, водки, с полстаканом которой, бесцветным и, казалось, пустым, встал у первого попавшегося столика.

– Ну ты как, не куришь еще? – проговорил тягостно он.

– Курю, – не ответил, а сознался Матюшин.

– Давай покурим... Кури, со мной можно... Может, пива тебе взять или что крепче хочешь, может, водки?

– Хочу! – выпалил Матюшин. – Водки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.